

Человек-эпоха

Две встречи с Д. С. Лихачевым. Публикация и вступительная заметка Николая Кавина

Опубликовано в журнале *Звезда*, номер 11, 2006

О нем, академике Лихачеве, сегодня, когда его уже нет с нами, это можно сказать с полным основанием. Не только потому, что он прожил без малого век, и даже не только потому, что он был свидетелем и участником (подчас невольным) событий нескольких эпох общественно-политической жизни страны, но и по тому, что он сделал, оставил после себя — это целая эпоха в развитии научной и исследовательской мысли.

Есть люди — интересные, глубокие, неординарные, — встречи с которыми навсегда врезаются в память. Такими были для меня встречи с писателями

В. П. Астафьевым, В. В. Конечким, артистами В. В. Меркурьевым, Е. А. Лебедевым, академиками А. М. Панченко и Д. С. Лихачевым. Беседа с каждым из них что-то переворачивала в моем сознании, представлениях о мире, людях и часто вспоминалась потом, спустя годы.

С Дмитрием Сергеевичем таких встреч было две.

Встреча первая

Он не очень любил публично вспоминать о той странице своей биографии, которая была связана с его арестом и высылкой на Соловки. Но когда в ноябре 1992 года в Ленинграде готовилась международная конференция “Фольклор ГУЛАГа”, согласился принять в ней участие.

Вышел на сцену ленинградского Дома писателей и стал негромко, доверительно, словно наедине с собеседником в уютной домашней обстановке, рассказывать о своей лагерной жизни.

Я сидел с магнитофоном в первом ряду и замороженно слушал. К счастью, запись этого выступления сохранилась, и сегодня, спустя четырнадцать лет, те, кому в тот вечер посчастливилось быть в зрительном зале, могут вспомнить рассказ Лихачева, а те, кто не имел такой возможности, — познакомиться с ним.

СОЛОВКИ 1928—1931

Что такое “Архипелаг ГУЛАГ”?

Этот термин, заимствованный из названия книги А. И. Солженицына, прочно вошел в наш обиход. Но что такое “ГУЛАГ” и что такое “Архипелаг”? ГУЛАГ — это маленькое учреждение, Главное управление лагерей, помещавшееся на первых двух этажах печально знаменитого дома на Гороховой. В огромном подвале, окна которого были забиты, постоянно звучали выстрелы — там шли расстрелы.

Сегодня в понятие “ГУЛАГ” мы вкладываем совсем иной смысл — объединение всех лагерей, как бы государство в государстве. А в свое время это было только управление лагерей, которое занималось доставкой продовольствия и подбором кадров для работы в лагерях. Этот подбор осуществлялся весьма своеобразно. Например, все время не хватало бухгалтеров. Людей этой профессии очень трудно было в чем-то обвинить — они, как правило, сидели в своих конторах и молча занимались работой. Тогда без всяких оснований арестовывали бухгалтеров, живших поблизости от Гороховой или от Литейного, 4, где помещалось ОГПУ, и отправляли на стройки ГУЛАГа, эти “замечательные стройки нашего светлого будущего — коммунизма”, развернувшиеся по всей стране благодаря инициативе партии, правительства и, как тогда говорили, “лично товарища Сталина”.

В самый разгар работы над своими сочинениями по истории лагерей ко мне приехал Александр Исаевич Солженицын. Мы с ним работали три дня. Я ему дал свои записки по

истории Соловков и рассказал о главном палаче Соловецкого лагеря латыше Дегтяреве, который, никому не доверяя, лично расстреливал заключенных, получая от этого большое удовольствие. В лагере его называли “главным хирургом”, а сам себя он пышно именовал “начальником войск Соловецкого архипелага”. Александр Исаевич воскликнул: “Это то, что мне нужно!” Так в моем кабинете родилось название его книги.

Политические и уголовники

Соловецкий лагерь образовывался как лагерь для белогвардейцев и заключенных из военных. Но потом туда стали присылать главным образом мелких воров и малолетних преступников. Известны даже случаи, когда в Москве объезжали паперти церквей, арестовывали без разбора всех нищих и отправляли на Соловки, а там уже узнавали их фамилии. И только позднее Соловки стали местом ссылки политических заключенных.

Во время нашей встречи с А. И. Солженицыным я никак не мог объяснить ему некоторые вещи. Когда я включил магнитофонные записи воровских песен и начал рассказывать о достаточно мирных взаимоотношениях политических заключенных с уголовниками, о том, как я не раз спасал воров, а они — меня, он страшно возмутился: “Как это можно? Воры — это же не люди, это нелюди”. Для него уголовники были людьми совершенно отпетыми, он их не признавал. Мне стоило большого труда убедить его, что на Соловках в конце 1920-х годов не было войны между уголовниками и каэрами (“каэрами называли политических заключенных, иначе говоря, контрреволюционеров), такой войны, которая развернулась позднее в его “шарашках”.

Нельзя же всерьез воспринимать, например, такой эпизод. Когда мы готовились к отправке на Соловки, нас втиснули на пересыльном пункте вместе с уголовниками, и те, снимая с себя вшей, щелчками обстреливали ими нас. Я и мои спутники уже через десять минут были покрыты вшами.

С другой стороны, когда нашу группу молодежи грузили на пароход “Глеб Бокий”, домушник (специалист по взлому квартир) Овчинников тихо сказал: “Ни в коем случае не идите в трюм. Стойте здесь, на палубе”. Этим он спас нам жизнь, потому что, когда мы прибыли на Соловки, из трюма выносили уже трупы — люди задохнулись там от духоты. Овчинников уже бывал на Соловках и бежал оттуда. Его поймали, избили до полусмерти и вновь отправили на остров. Там он был избит вторично, да так, что попал в санитарную часть. Я навещал его, носил хлеб, махорку. Потом след его простыл.

Забегая вперед, скажу, что второй раз от верной гибели меня спас тоже уголовник, глава всех урок на Соловках Иван Яковлевич Комиссаров. Дело в том, что мой хороший знакомый Александр Иванович Мельников, в прошлом флаг-капитан¹ Керенского, служивший делопроизводителем в административной части, выхлопотал для меня специальный пропуск, который позволял покидать территорию лагеря. Этот пропуск меня очень выручал — я мог вырываться из этой толпы уголовников и совершать прогулки по всему острову.

И вот в один прекрасный день этот пропуск у меня пропал. Если бы пропажа обнаружилась, меня отправили бы в карцер, откуда редко кто выходил живым. С Комиссаровым мы сидели в одной камере, и я попросил его: “Прикажите уголовникам, чтобы они вернули мне пропуск”. Он ответил: “Я ничего не могу сделать”. Но через три дня я нашел пропуск у себя в кармане. Я бросился к Комиссарову: “Спасибо, Иван Яковлевич!” А он говорит: “Я тут ни при чем. Я ничего не знаю”.

Офицеры и чекисты

На Соловках не было явного конфликта между политическими заключенными и уголовниками, но зато шла другая война, продолжавшаяся несколько лет. Те, кто стоял во главе лагерей, были никудышными организаторами. Они не могли обеспечить ни снабжения лагеря продовольствием, ни элементарного размещения людей. Поэтому всем этим стали заниматься сами заключенные из <белых> офицеров. Они разбили людей на роты, выполняли канцелярскую работу, организовали административную часть.

Во главе другой части — информационно-следственной (ИСЧ) — стояли бывшие чекисты, осужденные за служебные преступления. Когда я в 1928 году попал на Соловки, между административной частью и информационно-следственной шла самая настоящая война. Однажды офицеры адмчасти ворвались в помещение исчасти, вскрыли с помощью уголовников несгораемый шкаф, вытащили оттуда списки всех информаторов, осведомителей, стукачей и этап за этапом стали отправлять их с Соловков на Кондостров,

где условия жизни были несравнимо тяжелее. И бывшие чекисты из ИСЧ ничего не могли поделать...

“Выхожу один я на дорогу...”

Первое время на Соловках я жил в 13-й роте общих работ. Там у меня было место под нарами, потому что на нарах мест уже не было — барак был переполнен. После общих работ со всеми их ужасами я начал работать в криминологическом кабинете, где занялся изучением малолетних преступников и отбором их для трудовой колонии.

В криминологическом кабинете Соловков собрался цвет петербургской интеллигенции. Возглавлял его бывший царский прокурор Александр Николаевич Колосов. Вместе с ним работали бывший революционер, философ Александр Александрович Мейер, арестованный по нашумевшему делу кружка философов “Воскресенье”, преподаватель Пединститута имени Герцена Александр Петрович Сухов, Ксения Анатольевна Половцева, доктор университета Сорбонны, Юлия Николаевна Данзас, в прошлом фрейлина при дворе Александры Федоровны, и еще целый ряд очень интересных людей.

Попав в криминологический кабинет, я сразу оценил обстановку и решил записывать все интересное. Еще в роте общих работ, находясь среди уголовников, я начал изучение уголовных игр, занялся составлением словаря воровского языка, вернее, жаргона. В криминологическом кабинете к этому добавилась работа с альбомами заключенных.

У многих уголовников в то время были альбомы, куда они заносили любимые стихи, изречения, делали автобиографические записи. При “шмонах” эти альбомы отбирались и передавались в наш кабинет. Через мои руки прошло более ста таких альбомов.

Что же чаще всего писалось в них? Прежде всего переписывали стихи Сергея Есенина. Они трогали душу воров, урок. Особенно ценилось и лермонтовское “Выхожу один я на дорогу...”. Тема одиночества вора в грубом, несправедливом мире волновала всех. “Один” — это очень важно. Но в альбомах можно было прочесть и автобиографии владельцев, и самодеятельные, неумелые стихи.

Среди этого множества альбомов один был совершенно замечательный. Написанный то стихами, то раешником, то рифмованной прозой, он представлял собой автобиографию вора с замечательными, талантливыми рисунками примитивистского характера. Это были яркие, выразительные аппликации, в которых автор резко выделялся на фоне описываемых событий. Меня поразили некоторые рифмы. Скажем: “Выхожу, и шел дождик. / Смотрю, стоит один извозчик”. Автор этого извозчика нанял и поехал “на дело”. Выдержки из этого альбома были в 1930 или 1931 году опубликованы в издававшейся в Кеми газете “Новые Соловки”.

“Нет в мире справедливости!”

Кроме официального задания по организации колонии малолетних преступников, меня чрезвычайно интересовало, как уголовники оправдывают свои действия. Ведь ни один вор, ни один бандит не считает, что он поступает плохо, у него есть определенная философия, очень примитивная, но все-таки философия.

Об этом я знал еще до Соловков, по Петербургу. У меня были знакомые, входившие в Клуб анархистов, размещавшийся на деревянной даче Дурново, что и сейчас еще стоит за забором на берегу Большой Невки. Сначала это был клуб интеллигентных, идейных анархистов, потом все чаще там стали появляться уголовные элементы, и наконец клуб превратился в притон бандитов и грабителей. За наиболее успешные ограбления выдавали ордена. Они были очень похожи на Георгиевский крест, но посередине вместо Георгия Победоносца красовалась тарелка, на тарелке курица, а в курицу была воткнута вилка. На обороте вместо монархического девиза стоял девиз анархический: “Нет в мире справедливости!”

Этот девиз знал каждый уголовник и действовал соответственно этому девизу — в мире справедливости нет, и надо ее восстановить. И они “уравнивали” имущественное положение граждан, “экспроприруя” богатых. Себя <воры-> уголовники считали борцами за справедливость, поэтому так ненавидели “мокрушников” — убийц.

Самое ужасное было то, что этой философией “восстановления справедливости” были заражены 14—15-летние подростки. Я записывал их рассказы о своей жизни и ходил словно пьяный от этих страшных историй. Они, конечно, преувеличивали свои подвиги и говорили мне: “Ну что вы записываете! Мы ведь вам все врем”. Я отвечал: “Я знаю, что вы врете, но меня и интересует, почему вы врете”.

Но были и подлинные трагедии ребячьих судеб. Особенно меня поразила подросток по фамилии Церетели. Его отец, известный философ, находился в белой эмиграции, а сын оказался в числе беспризорных, притом совсем уже “занюханных”, то есть нюхавших кокаин и становившихся совершенно невменяемыми.

Все это я записывал, но записывал в условном, зашифрованном виде, не упоминая имен и фамилий. По возвращении из лагеря эти записи я расшифровывал. Они изданы в Северодвинске и войдут в книгу воспоминаний, над которой я сейчас работаю.

“Буревестник революции” на Соловках

Администрация Соловков очень заботилась о придании лагерю видимости исправительного, особенно перед приездом Горького. Начал выходить журнал “Соловецкие острова”, были организованы театр, музей и другие “культурные учреждения”. И все это, чтобы Горький мог убедиться, что никаких зверств на Соловках не происходит.

Я видел Горького в Соловецком лагере и отлично знаю, что он все видел и знал, что там происходит. Один мальчуган рассказал ему об истязаниях, о том ужасе, который творится в лесу.

Я попал в лес под предлогом отбора малолетних преступников для детской колонии, на самом же деле, чтобы спасти их. Мне было бесконечно жалко этих детей. Там я заболел, у меня открылось страшное язвенное кровотечение.

То, что я там видел, не поддается описанию. Заключенных, особенно басмачей из Средней Азии, не понимающих ни слова по-русски, не умеющих работать (дома за них работали женщины), в шелковых халатах и высоких сапогах, как они были арестованы, загоняли в лес, давали на сто человек две-три лопаты и заставляли среди камней рыть канавы. В этих канавах вдоль стенок сооружалось некое подобие лежанок, а покрывалось все это бревнами, ветками и лапником. Я попал в лес весной. Канавы, в которых жили заключенные, наполовину была заполнена водой, с “потолка” капало, потому что шел дождь и таял снег. Похожий эпизод есть в романе Б. Пастернака “Доктор Живаго”, но менее страшный, чем то, что видел я.

Горький, конечно, этого не видел, но знал по рассказам заключенных. Однако, вернувшись в Москву, в 1930 году в журнале “Наши достижения” (!) он опубликовал восторженный очерк о соловецких чекистах, помня их теплый прием и поверив, очевидно, обещаниям, что режим в лагере будет изменен.

Фольклор Соловков

С Соловецких островов мне удалось вывезти две тетради. Вернее, одну тетрадь я передал через отца. Он у меня был смелый человек: не только добился свидания со мной, приехал в Соловецкий лагерь, но и взялся вывезти на волю мою тетрадь, рискуя получить за это срок. Вторую тетрадь я вывез сам, уже с Беломорско-Балтийского канала, куда был переведен с Соловков. На канале я был железнодорожным диспетчером и освобождался в 1932 году без всякого обыска. В этой второй тетради было немало записей лагерного фольклора.

Разумеется, заключенным, которые были на общих работах в лесу, на торфяных разработках, в этих ужасных условиях было не до фольклора. Спрашивать их об этом было нелепо, даже кощунственно. Фольклор Соловков существовал только в пределах самого монастыря, где были более сносные условия в силу показухи, или, как говорили ээки, “туфты”, которую устраивало начальство для гостей.

Прежде всего, это были песни. Песни разные. Вроде такой:

В Фонарном переулке труп убитого нашли.

Он был в кожаной тужурке с большой раной на груди.

Он лежит и не дышит на холодной земле,

Двадцать девять ран имеет на усталой голове...

Далее в форме баллады разворачивается драматический сюжет гибели героя. Это пример воровского фольклора царских тюрем и ссылок, который еще существовал на Соловках в конце 1920-х годов.

Бытовали песни литературного происхождения, исполнявшиеся популярными в те годы певцами, и в первую очередь Леонидом Утесовым: “Гоп со смычком это буду я...”, “Мы со Пскова два громилы...”.

Немало песен, куплетов, частушек появилось непосредственно на Соловках. Их рождение связано, прежде всего, с именем Бориса Глубоковского.

Борис Глубоковский, в прошлом актер театра Таирова, развернул на Соловках бурную деятельность. Он возглавлял журнал “Соловецкие острова”, лагерный театр, поставил замечательный спектакль “Соловецкое обозрение”, для которого написал десятки текстов на мелодии из оперетты “Жрица огня”:

Соловки открыл монах Савватий,
Был наш остров нелюдим и пуст...

“Соловецкое обозрение” продолжалось более трех часов и завершалось финальной песней “Соловецкие огоньки”, которую заключенные пели в темноте с фонариками в руках:

Соблюдая кодекс трудовой,
Охраняет нас милый конвой,
И гоняет с зари до зари
Нас с высокой Секирной горы...

Песни, звучавшие в спектакле, были иронические, высмеивающие намерения начальства изобразить лагерь как исправительное заведение, ставившее цель перевоспитать заключенных:

И от нежной, душистой трески
Соловчане не знают тоски...
А заканчивалось представление тем, что:
Когда-нибудь снежной зимой
Мы сберемся веселой толпой,
И начнут вспоминать старики
Соловки, Соловки, Соловки...

“Соловецкие огоньки” вышли за пределы лагеря, их пели и в Петрограде, и в Москве, помнили спустя десятилетия после освобождения. Мелодия песни была оригинальной. В лагере были и музыканты: талантливый петроградский дирижер и композитор Вальберт, музыковед из Тифлиса армянин Ананве.

На той же сцене соловецкого театра исполнялись частушки, тоже иронически-насмешливого тона:

Соловки на Белом море,
Пароход, Нева.
Там грузят одни баланы
И пилят дрова.
Музыка и спорт.
Чем же не курорт?

“Курортные” условия Соловецкого лагеря были прекрасно известны тем, кого на этот “курорт” отправляли не по своей воле, и встречались частушки зэками грустной ухмылкой.

Поэты Шепчинский и Юрий Казарновский писали стихотворные пародии. Они были напечатаны в “Соловецких островах” и частично перепечатаны в наши дни Е. Евтушенко в “Огоньке”.

Смех, веселые куплеты, пародии, частушки в тех тяжелейших условиях были очень нужны: они успокаивали психологически, давали силы, многих возвращали к жизни.

Начальство на Соловках было чрезвычайно жестоким. Скажем, за разорение гнезда чайки (а чайки были приучены монахами не бояться людей) заключенных расстреливали. А крамольные песни и частушки пропускались. Почему? Показывая постоянно приезжающим из Москвы комиссиям самодеятельное творчество зэков и видя благосклонное отношение гостей, малограмотное местное начальство позволяло заключенным такую вольность. Естественно, ни в одном театре Советского Союза спектакль, подобный “Соловецкому обозрению”, не мог быть поставлен.

Идеальный заключенный — пьяница

Нравы Соловков поражали своей контрастностью, особенно это касалось пьянства. Трезвому не прощалось ничего, пьяному прощалось все. Например, начальник нашей криминологической лаборатории Бедряга, пришедший после Колосова, очень любил выпить. И доставал спиртное одному ему известными способами. Однажды, будучи пьяным, забрался на царскую часовню (которая уже в наши дни была уничтожена помещавшейся в монастыре школой юнг) и начал звонить в царский колокол. В другой раз он явился в переполненный театр одетый в полную пожарную форму, в каске, с фонарем на груди и топориком в руке, и закричал: “Пожар!” Поднялась паника. Начальство смеялось: “Какой

молодец!” Ему все было прощено, он даже не получил карцера. Почему? Потому что пьяница и сделал это в пьяном виде. Пьяница — это какой-то идеал был на Соловках.

Все прощалось и уже упоминавшемуся Борису Глубоковскому. Он всегда был в центре любого веселья, умел веселить. В прошлом Глубоковский был другом Есенина и организатором развлечений Сергея Александровича (он часто вспоминал о проделках Есенина и своих). Когда приезжала комиссия из Москвы, например, с Глебом Бокием и Катаняном, прежде всего, конечно, устраивалось застолье, во время которого Глубоковский веселил гостей. А потом шли смотреть “Соловецкое обозрение”. Глубоковский, изрядно подвыпивший, выходил на сцену и, указывая пальцем в зрительный зал, где в первом ряду сидели высокие московские гости, обращался к актерам-заключенным: “Пойте так, чтобы этим сволочам вас жалко стало!” И “эти сволочи” ему все прощали, потому что пьяница. Вот такая атмосфера была на Соловках.

Духовная жизнь Соловков

Это то, что бросалось в глаза. Но одновременно, внешне незаметно, шла другая жизнь. Я уже упоминал, что в Соловецком лагере было много интеллигенции, в частности поэтов — Панкратов, Казарновский, Евреинов. Некоторые из них вернулись из белогвардейской эмиграции на родину и, конечно, сразу были арестованы. В том числе и первоклассный поэт Владимир Кименский. Его настоящая фамилия была Свешников. Он поссорился со своим отцом — полковником царской армии, не желавшим отпускать сына в Советский Союз, поэтому он принял фамилию своей матери.

Поэтическая молодежь тогда жила стихами Баратынского и только что вышедшего сборника О. Мандельштама “Камень”.¹

Интеллигенция в условиях Соловков не сдавалась. Она жила своей, часто скрытой от посторонних глаз, духовной жизнью, собираясь и обсуждая разные философские проблемы. Помню выступления А. А. Мейера, воспоминания Ю. Н. Данзас об императорской семье, позднее, на Беломорско-Балтийском канале, рассказы А. Ф. Лосева. Это были очень интересные люди. Например, художник Прасс, написавший лучший портрет Чехова. Выйдя на свободу, он уехал в Париж и вскоре умер.

Заключенные поддерживали друг друга, помогали. Александр Александрович Мейер на Соловках работал над своими философскими статьями и, в частности, над размышлениями о “Фаусте”. Текст Гете ему подавал Гаврила Осипович Гордон, человек энциклопедических знаний, помнивший всего “Фауста” наизусть на немецком языке. Философские статьи А. А. Мейера опубликованы в 1981 году в Париже.

Это были исключительные, замечательные люди, и я считаю своим долгом помнить их и рассказать о них.

20 ноября 1992 г., Дом писателей